



ЛЕВ РУБИНШТЕЙН

**ВРЕМЯ  
ПОЛИТИКИ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИВАНА ЛИМБАХА

Лев Рубинштейн  
**Время политики**

«Издательство Ивана Лимбаха»

2021

УДК 821.161.1-4 "20"  
ББК 84.3 (2 = 411.2) 64-46

**Рубинштейн Л. С.**

Время политики / Л. С. Рубинштейн — «Издательство Ивана Лимбаха», 2021

ISBN 978-5-89059-429-7

«Время политики» известного поэта и эссеиста, автора многих поэтических и прозаических книг, представляет собой сборник его избранных эссе, опубликованных в интернет-издании InLiberty.ru. Свою медийную прозу Лев Рубинштейн обозначает как «опыт периодической изящной словесности». Критерий, которым автор руководствовался, составляя сборник, – сможет ли текст зажить новой жизнью в новом и ответственном контексте, контексте книги. А оценить ее целиком – дело читателя. Как и в самой первой книге своих журнальных очерков «Случаи из языка», вышедшей в издательстве Ивана Лимбаха, в новом сборнике Лев Рубинштейн уделяет пристальное внимание словам, создающим или искажающим реальность.

УДК 821.161.1-4 "20"  
ББК 84.3 (2 = 411.2) 64-46

ISBN 978-5-89059-429-7

© Рубинштейн Л. С., 2021  
© Издательство Ивана Лимбаха, 2021

## Содержание

Все напрасно?	6
Дух и буква	7
Кто что сказал	7
«И» или «или»	9
Норма и геноцид	11
Ответ, оставшийся без вопроса	14
Хор жалобщиков	17
Дух и буква	20
Метафизика чернил	23
Глаголы настоящего времени	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# **Лев Рубинштейн**

## **Время политики**

Фото на обложке: *Ольга Паволга*

© Л. С. Рубинштейн, 2021

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2021

© Издательство Ивана Лимбаха, 2021

## Все напрасно?

«Ничего нельзя сделать, – говорят все чаще, – ничего не будет». А еще говорят: «Все напрасно».

Все напрасно, согласен. Ну не совсем, конечно, всё. Но в целом да, напрасно. Практически всё. За редким исключением.

Напрасно, например, дергаться понапрасну. Напрасно объяснять что-либо себе и другим.

Напрасно спорить. И правда ведь, какой безумец встанет перед асфальтовым катком и затеет с ним дискуссию об истине, добре и красоте?

Дергаться напрасно, это правда. И даже, прямо скажем, опасно.

Но еще опаснее не дергаться.

«Напрасно ветреной порой мы бьемся из последней силы – уж в предвкушении могилы едва родившийся герой», – написал автор этих строк в середине далеких восьмидесятых годов, когда умные люди так же, как и сегодня, говорили, – и вполне справедливо, – что все напрасно.

Так и было. Все и было напрасно, кроме, конечно, различных художественных усилий. А усилия эти были необходимы для того, чтобы посредством ярких художественных приемов и запоминающихся образов еще и еще раз сообщать друг другу о том, что эти усилия напрасны. Как и все остальное. Такой вот отчасти комический парадокс, на котором, кстати, во многом и держится то, что принято называть искусством.

Сообщать-то сообщали. Но все при этом точно знали, хотя и не говорили, что они, усилия, вовсе не напрасны. А напрасно как раз другое. Примерно то же самое, что и теперь.

Напрасно, например, впадать в уныние.

Напрасно забывать о том, что самое, может быть, главное – это поиск наиболее адекватных форм сочувствия друг другу.

Напрасно считать сражения проигранными.

Напрасно пораженному суицидальным синдромом государству все время кажется, что если стране отпилить голову, вырезать у нее сердце, оттяпать гениталии, отрубить руки, если останутся, по выражению Зощенко, «кругом живот да ноги», то ему, государству, будет сподручнее двигаться. Куда и зачем, неважно. «Цель ничто», как было сказано.

Кому-нибудь приходилось когда-нибудь видеть, как кругами носится по двору обезглавленная курица? Я однажды видел. В детстве. В деревне. Случайно. Если честно, больше не хочу.

Напрасно сидеть и не шевелиться.

Напрасно не видеть, не слышать и не дышать.

Напрасно также терпеть, вертеть, зависеть, гнать и ненавидеть.

И совсем уж напрасно думать, что все напрасно. Уже хотя бы потому, что это не так.

## Дух и буква

### Кто что сказал

Мы испытываем внутренний дискомфорт всякий раз, когда слышим, что человек нам несимпатичный и не вызывающий особого нашего доверия – в силу ряда биографических и прочих обстоятельств – вдруг говорит или пишет нечто такое, под чем мы готовы подписаться прямо сейчас, причем обеими руками.

В этих случаях нам было бы намного комфортнее, если бы несимпатичный нам человек и тексты произносил бы несимпатичные, и поступки совершал бы нам неприятные.

Дискомфорт, да.

Я вспоминаю такой, например, давний эпизод из своей литературной биографии. Однажды, в те времена, когда основным способом бытования литературных текстов были квартирные чтения, меня позвали почитать стихи в некий малознакомый дом. Я и пошел, почему нет. И дом был незнакомый, и публика там была почти незнакомая, что всегда вызывает невольные опасения у человека, не слишком уверенного в себе. А я, – к сожалению или к счастью, я до сих пор так и не решил, – именно таков.

К моему облегчению, я почти сразу ощутил отчетливое дружелюбие и отзывчивость аудитории. После чтения началось нечто вроде обсуждения. Разные люди высказывали разной, прямо скажем, глубины и точности соображения, но в основном они были со знаком плюс, что автора со здоровыми рефлексамися не может не тешить.

Среди прочих присутствовал там и некий молодой человек, все время молчавший и, как мне показалось, очень чем-то недовольный.

Когда все отговорили и возник, как бывало обычно в таких случаях, общий стол, я оказался рядом с этим молодым человеком. Он представился и сказал, что ему ужасно нравится, причем уже давно, то, что я делаю. «А мне по вашему выражению лица, – сказал я, – показалось, что как раз наоборот!»

Он засмеялся и сказал, понизив голос и обводя рукой публику: «Это они меня разозлили!» «Это чем же?» – поинтересовался я. «Дело в том, что многих из этих людей я знаю, и знаю их как людей не слишком умных. Вот я и приготовился к тому, что все будут вас ругать, а я буду защищать. А вот не получилось! Конечно, я мог бы в пику им сам начать вас ругать. Но это было бы совсем глупо. В общем, досадно, согласитесь!» Я согласился.

Ну и все, разумеется, помнят ставшую почти фольклорной и к нашим дням уже довольно надоедливой байку про «Евтушенко и колхозы».

Когда памятники жертвам коммунистических злодеяний торжественно открывают выходцы из все тех же самых преступных контор и произносят при этом слова, ничем на вид не хуже тех, которые мог бы сказать и ты, то ясно понимаешь, что нет, это не те слова, они другие, хотя и звучат они точно так же, как и твои, и, как и твои, расставлены в том же самом порядке.

Что могут означать, о чем могут говорить те случаи, когда люди, которым ты не веришь совсем или не очень веришь, вдруг выступают, условно говоря, «против колхозов»?

О том, что человек внезапно, под воздействием каких-то неведомых вам, но очень сильных обстоятельств в одночасье прозрел, немедленно и радикально изменился в лучшую сторону и нельзя лишать его шанса? Мало ли что было? Мало ли, что он или она говорили или вытворяли еще прямо позавчера! Важно ведь не то, что было, а то, что сейчас! Было – так! А сейчас стало – вот эдак!

Возможно. Но вряд ли.

Или это значит, что сам факт такого досадного дискурсивного совпадения свидетельствует о необходимости подвергнуть решительной ревизии круг собственных, сложившихся долгими годами чувственного и социального опыта убеждений?

Тем более – вряд ли.

Дело в том, что значения отдельных слов и всегда существенно зависимы от контекста, а в наше время – они как-то особенно несамостоятельны.

Высказывания сами по себе вообще не слишком-то отвечают за свои слова.

Дело вообще не в том, кто какой текст предъявляет миру. Текст, разумеется, важен. Но еще важнее обстоятельства его репрезентации. Необычайно важна, например, цель высказывания. А еще важнее – его субъект.

Говоря попросту, важнее всего не ЧТО и не КАК и даже не ЗАЧЕМ, а КТО.

Именно в «кто» содержится и подлинное содержание любого высказывания, и его целеполагание.

И если мы задумываемся над тем, кто, что и зачем сказал, то, по крайней мере, не следует забывать, что мы думаем не о том, кто ЧТО сказал, а о том, КТО что сказал.

## «И» или «или»

Друзья мои, как вам кажется, прекрасен наш союз? Или так, не очень?

Это я всего лишь про соединительный союз «и» в словосочетании «свобода и порядок».

Во всех обществах современного мира, во всех обществах, где этот союз сохраняет свою непреходящую актуальность, он подвергался и продолжает подвергаться серьезным испытаниям истории. Войны, стихийные бедствия, кризисы, терроризм постоянно ставят перед государством и обществом сакраментальный вопрос: «и» или «или»?

С такой роковой альтернативой столкнулся цивилизованный мир после атаки на Нью-Йоркские башни-близнецы. Эта была атака на прекрасный и, в общем-то, единственно возможный союз, хотя за его спиной, потирая ручонки и глумливо скалясь, всегда маячит и ждет своего часа коварный «или».

Современный цивилизованный мир, чья история развивалась мучительно и кроваво, но – что главное – линейно и поступательно, выстрадал свое прочное «и», каким бы испытаниям оно ни подвергалось. Общества же, исторически склонные к тоталитарности, живут с «или».

И очень неравные части такого общества по своим социальным устремлениям располагаются по разные стороны от этого «или».

Когда-то в среде советской интеллигенции был популярен журнал «Химия и жизнь». Он, несмотря на скучное название, был довольно веселым, как тогда говорили, отвязным, современно иллюстрированным и при этом весьма познавательным. Шутники же называли его «Химия или жизнь».

Словосочетание «свобода и порядок» не очень работает в наших широтах, и это надо признать.

Необходимо выбирать. Выбирать между гвалтом и толкотней привокзальной площади и благоговеющей тишиной анатомического театра. Между крикливым базаром и торжественным кладбищенским покоем.

И никуда не деться от фатальной необходимости выбора между свободой и порядком, притом что свобода, как правило, понимается как безнаказанное битие витрин, а порядок – как сплошной, равномерно размазанный по всей необъятной территории страны опорный пункт милиции – вроде как в знаменитом стихотворении Дмитрия Александровича Пригова: «Когда все братья будут люди, и каждый – милиционер».

А вот другая, параллельная реальность предполагает, что свобода и порядок не только совместимы, но и вполне претворены в жизнь в одной отдельно взятой, то есть в нашей, стране.

Всё, в общем-то, так и есть, если, конечно, и то и другое подвергнуть тщательной «суверенной» интерпретации. В этих делах мастеров у нас хватает.

Все вполне совмещается и существует в нежном диалектическом единстве и согласии, если под «порядком» понимать тотальную безальтернативность политической и общественной жизни, а под свободой – полную свободу гражданина выбрать, что ему больше нравится: пойти на протестный митинг и получить там увесистой дубиной по пояснице или остаться дома и смотреть душераздирающие новости про то, как наймиты НАТО и Госдепа пытаются расшатать нашу лодку.

Именно *такая* свобода и *такой* порядок отлично уживаются в нашем государстве.

Интересный, кстати, возникает вопрос такого, например, свойства.

Вот, скажем, избиения силами полиции и нацгвардии безоружных людей, вышедших на улицы и якобы мешающих проходу других граждан к своим телевизорам, имеют отношение к порядку или к чему-то еще? А дикие в своем демонстративном беззаконии судебные приговоры? А абсолютно презрительные по отношению к основным пунктам Основного закона высказывания того, кто в соответствии с этим самым Законом числится его гарантом?

Это все про порядок?

Вроде бы да, если учитывать, что все эти карательно-хватательно-запретительные мероприятия проводятся разнообразными органами правоПОРЯДКА.

Или это все же своеобразные проявления свободы, если принять во внимание абсолютную, ничем не ограниченную свободу действий этих самых органов?

Сложный вопрос.

А что общество?

Та его часть, которая, несмотря ни на что, наделена неистребимым стремлением к свободе в общечеловеческом понимании этого слова, разными цивилизованными путями и способами отстаивает эту свою свободу.

Но когда планомерно и последовательно затыкаются рты, когда слова стремительно теряют смысл, то рано или поздно слово берут руки, ноги, палки и камни.

А это – свобода или порядок? Порядком это вряд ли кто-нибудь назовет. А свободой – могут.

Кому-то это, может быть, и понравится. Мне – решительно нет. Потому что давно и хорошо известно, что насилие порождает насилие, и больше ничего. Но меня, вас, нас всех никто и не спросит.

Честно признаюсь: в школе я довольно плохо учился по физике. Прогуливал ее или просто читал книжку под партой. Если бы я учился чуть лучше, то знал бы, например, о том, что ни в коем случае нельзя одновременно плотно закупоривать стеклянный сосуд и нагревать его на спиртовке.

Узнал я об этом не из учебника, а из личного персонального опыта. Узнал, чтобы никогда больше об этом не забывать. Я и сейчас сижу и рассматриваю хорошо заметный шрам на большом пальце левой руки. Кому интересно, могу показать. И это я, судя по всему, еще очень легко отделался.

## Норма и геноцид

Уже не раз, не два и не три мы вновь и вновь поражаемся тому, как катастрофически обесцениваются значения тех или иных слов и как они на наших глазах самым драматическим образом лишаются смысла.

Ну, допустим, я наткнулся на зачем-то скопированное мною какое-то из очередных сообщений о трудах, делах и, главное, высказываниях нашего министра иностранных дел.

Сообщение выглядело так:

«Он (то есть министр. – *Л. Р.*) заявил, что страны Запада одержимы русофобией, „которая выглядит как геноцид через санкции“».

Сначала не вполне равнодушный к родной речи человек от души порадуетя диковинному словосочетанию «геноцид через санкции». Потом он, видимо, испытает необходимость заглянуть в толковый словарь, чтобы узнать, не существует ли, случайно, неизвестного ему до сей поры значения слова «геноцид». Нет, бесполезно! Правды он не узнает, потому что ее, этой правды, нет не только в словаре, но нет ее и выше. А понять из всего этого и многого другого можно только одно: такое вот массовое истребление смысла на всех уровнях как раз тот самый геноцид и есть.

И не ищите, кстати, в словаре слова «русофобия». Там вас только запутают. Потому что из контекста бесконечных и самых разнообразных словоупотреблений можно понять всего лишь то, что русофобия – это когда кто-нибудь подвергает осторожному сомнению исключительную правдивость российского президента, а также его иностранных и прочих министров, а также их пресс-секретарей, пресс-секретарей пресс-секретарей и прочую дворню. И не надо спрашивать, почему именно это следует называть русофобией и, соответственно, почему именно эту стаю ненасытных помоечных птиц следует именовать «Россией». Никто вам этого не объяснит. Это, как в известном анекдоте про «сол», «фасол», «вильку» и «тарелку»: надо твердо запомнить, потому что объяснить это невозможно.

«Огорчает только одно, – сокрушается знакомая, – что в наше время нет пера, сравнимого с Кафкой, Аверченко, Зоценко, Ионеско, чтобы описать окружающий нас абсурд».

А я думаю, что все перья, какие требуются, в наличии есть. Дело в другом. Перечисленные «перья» описывали абсурд, творившийся на фоне внешне упорядоченной жизни, то есть абсурд скрытый, «нутряной». В наши дни, когда абсурд нагледен и всеобъемлющ, мне кажется, у «перьев» совсем другая задача. А именно – упорное утверждение социальной, этической, эстетической **НОРМЫ**. «Нормы» не в сорокинском смысле, а в самом буквальном.

Я ловлю себя на том, что в последнее время все чаще употребляю слово «нормальный». И всегда, конечно, рискую нарваться на законный вопрос, что именно я подразумеваю под этим словом. Или на еще более каверзный и, в общем-то, тоже законный вопрос, почему это я ощутил себя вправе решать, что нормально, а что нет.

Приходится быть готовым и к вопросам, и к ответам. И это хорошо. И хорошо, когда есть лишняя возможность объяснить, что, когда я, например, употребляю выражение «нормальное общество», «нормальное государство», я под словом «нормальный» ничуть не подразумеваю «идеальный». Ничего идеального нет, я знаю, спасибо, как говорится, что объяснили. Нет, идеал тут ни при чем.

Нормальным обществом я называю то, где многочисленные и неизбежные проблемы, глупости, подлости, ложь называются проблемами, глупостями, подлостями и ложью, и они не становятся объектами национальной гордости и признаками самобытности.

Удивительно: норма при всей ее кажущейся обыденности и доступности оказывается в наших пределах практически недостижимой. Поэтому ее все время приходится подменять то «величием», то «суверенностью», то и вовсе какими-нибудь «славными традициями».

Риск нарваться на неудобные вопросы – риск скорее полезный. А вот другой риск – вполне опасный. Дело в том, что мы рискуем привыкнуть. Привыкнуть к беззаконию как к норме, к абсурду как к норме, к тотальной лжи как к норме, к насилию и жестокости как к норме. К катастрофическому размыванию значений слов как к норме. Нельзя к этому привыкать!

Необходимо помнить, что ненависть к современности и страх перед ней, какие бы формы и обличья они ни принимали, – иррациональны. И они столь же иррациональны, сколь и соблазнительны.

И они, эта ненависть и этот страх, не молчат. Они не корчатся безъязыкие. Да, они косноязычны, но они говорят.

«Кто-то же должен в самом-то деле дать отпор наглому напору мировой цивилизации! – говорят они. – Кто-то же должен сопротивляться ненавистной, разрушительной Норме! Кто-то ж должен сучковатым бревном улечься поперек истории. Так пусть это будем мы, если все другие такие продажные изнеженные слабаки!»

Нет, они не молчат. У них есть свои институты и, страшно сказать, аналитические центры. И не важно, чем они там занимаются. Главное – название. И главное, чтобы в названиях не было таких подозрительных слов, как «европейский» или «международный». Заведения с такими названиями лучше бы как раз позакрывать, – что явочным путем и происходит, – потому что все это пахнет «иностранным агентством».

А все, что останется, лучше всего назвать чем-нибудь «военно-патриотическим» – это дело надежное. А делать там можно все, что угодно. Хоть голышом бегать.

Каждая эпоха характерна тем или иным официальным стилем, той или иной авторитетной эстетикой. Нынешняя официальная эстетика – это так называемая попса, всепроникающая и все более агрессивная. Самые заметные политические или общественные мероприятия, включая президентские выборы и прочие «прямые линии», осуществляются и, что главное, воспринимаются публикой по законам и правилам функционирования шоу-бизнеса.

Так и только так можно и нужно все это воспринимать, чтобы не спятить.

С некоторых пор для описания (а также объяснения) самых разных явлений нашей общественной, политической, культурной, художественной жизни необычайно удобной – в силу своей ограниченной ответственности – оказалась приставка «пост».

Относительно недавно, например, многих заворожило словечко «постправда», послужившее не только объяснением, но и в каком-то даже смысле интеллектуальным оправданием того удивительного факта, что в основе нынешней официальной риторики лежит тотальное и вполне демонстративное, ничуть не скрываемое вранье.

Ну и постнорма, конечно. Я бы ввел такое понятие, если его еще нет.

Потому что все чаще возникает ощущение, что нынешние общественно-политические кошачьи концерты и собачьи свадьбы происходят ПОСЛЕ цивилизации, после какого-то гипотетического – в духе всевозможных антиутопий – Большого взрыва, уничтожившего все сложившиеся и худо-бедно усвоенные человечеством институты и представления о норме.

Давно замечено, что в официальной риторике, завороженой мифами, легендами и бабушкиными сказками «великого прошлого», практически отсутствует такая категория, как «будущее».

Но если будущего нет (и это скорее хорошо) для носителей и потребителей этой риторики, то это же не значит, что его нет вообще.

Оно, разумеется, есть. А вот гадать о том, каким оно будет, дело неблагодарное. Это знают все люди старшего поколения, кто – как я, например, – читали в детстве научно-фантастические книжки, где в качестве будущего описывалось в том числе и наше с вами время.

Да, гадать о том, каким будет будущее, довольно глупо, а вот высказать некоторые опасения, я считаю, можно.

Например, очень бы не хотелось, чтобы разрозненные записи некоторых телевизионных «шоу» нашего времени легли в основу общественных представлений о политической, общественной, культурной норме далекого для них прошлого, а для нас – настоящего, данного нам в наших непосредственных ощущениях.

Впрочем, будем надеяться, что они – там и тогда – с тем, что норма, а что патология, разберутся как-нибудь сами. А нам это необходимо здесь и теперь.

## Ответ, оставшийся без вопроса

В 1906 году классик американской музыки Чарльз Айвз написал знаменитую оркестровую пьесу под названием «Вопрос, оставшийся без ответа». Это сочинение со временем стало считаться чуть ли не эмблемой всей академической музыки Соединенных Штатов. И не только потому, что оно стало вехой в истории американской и мировой музыкальной культуры. Эмблемой стало и само название.

Думаю, не зря. Думаю, что «вопрос, оставшийся без ответа» – это емкая формула всего того, чем занимается искусство. Во всяком случае – современное.

Искусство занято тем, что оно задает вопросы. Иногда – ужасно неприятные. Не потому ли современное искусство многих раздражает, а иногда и искренне возмущает? Кому охота выслушивать бесконечные вопросы, особенно мучительные? Особенно те, на которые ты не готов дать немедленный ответ?

Читатель, зритель и слушатель ждут уж рифмы «розы», а ему предлагают рифмовать самому. Вот еще!

Та цельная картина мира, которую предлагают обществу и которую значительная часть общества с облегчением принимает, начинает расплываться по швам от любого вопроса. А если кто-нибудь и решится ответить, то ответы будут примерно такими: «Ты что, сам, что ли, не понимаешь?», «Сам-то как думаешь?», «Дурак ты, что ли, такие вещи спрашивать?». Или, допустим, «Кто не понял, тот поймет».

Ну а самым традиционным и испытанным ответом на всякие вопросы, конечно же, является универсальный: «Здесь вопросы задаю я».

А иногда еще «вопросами» называют претензии, «предъявы». «Есть у нас к нему кое-какие вопросы» – звучит довольно зловеще. А еще есть выражение «порешать вопрос». Есть, есть различные «вопросы», означающие что угодно, но только не вопросы.

Так называемая общественная и политическая жизнь нашего места и нашего времени строится на основах своеобразной этикетности, вопросов не предполагающей. Вопрос – это сомнение. А сомнениям тут не место. А потому и любой нарушитель этого этикета не может не вызвать разной степени агрессии. А потому любой человек, упорно задающий вопросы, обозначается, как правило, различными синонимами слова «враг».

«Враг», «русофоб» или «пятая колонна» – абсолютно исчерпывающие ответы на все вопросы. В общественном обиходе все большее и большее распространение приобретают разные слова, наделенные определенной эмоциональной энергией, но начисто лишены какого бы то ни было смысла. Впрочем, их бессмысленность в каком-то смысле и является причиной их инструментальной успешности.

Поэтому такие вопросы, как «что такое „враг“ и кому он враг?», «кто такие в данном случае «мы»?», «что вы понимаете под словом «хунта»? и «в чем, по-вашему, конкретно выражаются „национальные интересы“ и вообще, что это такое?», и очень многие другие только кажутся социально и культурно ответственному человеку разумными и даже необходимыми. На самом деле они в лучшем случае неприличны.

То безоглядное, казалось бы, доверие к нескончаемому потоку самозарождающегося и передаваемого электронным путем собачьего бреда – это, в общем-то, никакое не доверие.

Это вообще не вопрос веры. Это добровольное коллективное согласие жить в условном, символическом, фантастическом мире.

Этот мир привлекателен не только тем, что здесь на самые сложные и мучительные вопросы даются самые простые ответы, рассматривать которые с точки зрения даже не правды, а, прямо скажем, элементарного правдоподобия считается вопиющим нарушением общественных приличий.

И нет, мне кажется, никакого плана. И стратегии никакой нет. А есть безумная попытка (это иногда называют «геополитикой») создать параллельный, альтернативный «бумажный» мир, сляпанный при поддержке всех родов пропагандистских войск и всех видов медиа-орудий.

Параллельный мир, идея, этика и эстетика которого восходит либо к компьютерным играм, либо к классическим играм времен моего детства, когда двое приятелей выдумывали страну наподобие Швамбрании, страну, в которой один из них – уж как умеет – играл роль строгого и мудрого короля, а второй, допустим, великого полководца, не ведавшего преград ни в море, ни на суше.

Эта страна великая и могущественная. В ней до хренища лесов, полей и рек. Ее все вокруг боятся и уважают. Эта страна с легкостью завоевывает соседние, тоже придуманные, страны, и король с маршалом становятся все могущественнее и могущественнее. А их великое государство становится все мощнее и мощнее, все обширнее и обширнее, покуда хватает площади ватманского листа, на котором оно в состоянии уместиться.

Нашим фантазерам почти удалось создать этот «ватманский» мир. И им удалось заставить поверить в реальное существование этого мира множество так и не выросших из тревожного и буйного подросткового возраста мужчин и женщин. И похоже, они заигрались настолько, что в этот свой фантомный мир поверили сами.

Когда негодяи очень долго и интенсивно морочат головы идиотам, то рано или поздно происходит злокачественная диффузия: безвредные поначалу идиоты постепенно становятся еще и вредоносными негодяями, а негодяи неизбежно впадают в беспокойный идиотизм.

Традиция-то эта, в общем, давняя. Вот была, например, в истории отечественной культуры такая причудливая штука, как «социалистический реализм». Это был как бы художественный метод, предполагавший изображение действительности не такой, какая она есть, а такой, какая она по идее должна была бы быть. Или «действительность в ее развитии», как с лукавым изяществом формулировали тогдашние теоретики. Я же главную особенность этого метода обозначил бы как «специфическое культурное явление, которое не задает вопросов, а дает лишь ответы на никем не поставленные вопросы».

И мало кому тогда могло прийти в голову сравнивать, например, веселые картинки из ярчайшего образца этого самого «метода», прославленного кинофильма «Кубанские казаки», вышедшего на экраны вскорости после войны, с реальными картинками из реальной жизни.

Вы что! Это же сказка. А сказка – ложь. Но красивая. А фрукты там какие! А рояль – практически «в кустах»! А песни Дунаевского на стихи Исаковского! А скачки-то, скачки! А изобилие! Почти как в «Книге о вкусной и здоровой пище».

Какая еще правда жизни? Ну ее, эту правду, без нее тошно.

Параллельный мир заманчив еще и тем, что он по-детски красочен и сказочно героичен. Там чудеса. Там леший бродит... И тридцать три богатыря... И ступа с Бабою-ягой...

Это, в сущности, нечто вроде бахтинского карнавала, бесконечно растянутого во времени и пространстве.

Карнавал – явление старинное и, в общем-то, душеполезное. Он существует не только для того, чтобы перевести дух от постылой повседневности, постоянно докучающей разными вопросами.

Он и для того еще, чтобы грань между реальным миром и миром карнавальным, сказочным проявилась еще очевиднее.

Когда же карнавал подменяет саму жизнь, а его красочные условности воспринимаются как пресловутая «правда жизни» – это уже, прямо скажем, социальная и антропологическая катастрофа.

Но начали-то мы с Чарльза Айвза и его музыкального сочинения с многозначительным названием. А также с того, что «вопрос, оставшийся без ответа» – это в каком-то смысле фор-

мула искусства вообще. И с того, что очень трудно, хотя и совершенно необходимо понять, что искусство – это прежде всего искусство задавать вопросы, умение их задавать.

И именно поэтому в тех обществах, где легитимными признаются только ответы, не предполагающие вопросов, искусство всегда под подозрением.

И это касается не только современного искусства. Это касается и классического искусства тоже. Просто те, старые, вопросы настолько со временем укоренились в культурном сознании, настолько стерлись от многократного употребления, что уже стали восприниматься как вопросы риторические, то есть в каком-то смысле – ответы.

Но если заново, непредвзято вчитаться, вслушаться и взглядеться, то легко можно будет заметить, что все эти вопросы вполне актуальны и что они по-прежнему остаются без ответа. Разве, например, кто-нибудь ответил на вечный гоголевский вопрос «куда несешься ты?».

Но многие живут не в мире вопросов, а в мире ответов. Особенно ответов на те вопросы, которые сами они не задавали и задавать не собираются. Да и зачем решать задачу, если в конце задачника дан ответ? Ответ, оставшийся без вопроса.

## Хор жалобщиков

На вопрос «как дела» испокон веков существуют два универсальных ответа. Первый, к сожалению, не самый популярный: «Жаловаться грех». Второй, куда более распространенный: «Ой, не спрашивай!» После чего обычно следует череда самых разнообразных жалоб.

Лет десять тому назад возник интересный и довольно масштабный арт-проект, который назывался «Хор жалобщиков». Проект был международным, кочевавшим из страны в страну. Его придумали художники из Финляндии и Германии.

Хор жалобщиков – это действительно хор, поучаствовать в котором мог каждый. Достаточно было сформулировать и прислать ту или иную жалобу, дожидаться, пока поэт и композитор придадут этой жалобе соответствующий вид, а потом, после нескольких репетиций, выступить в составе хора на площадках своего родного города.

Так, например, жители Бирмингема в форме хорового пения пожаловались на дороговизну пива и проблемы с городским транспортом. А жители Хельсинки выразили хоровое недовольство плохим климатом и отсутствием туалетной бумаги в общественных уборных.

Идея проекта проста и в то же время весьма терапевтична – трансформация жалоб и недовольств в веселое, объединяющее разных людей художественное событие.

Объектами самых частых жалоб были, разумеется, неразделенная любовь и недостаток денег.

Жалобы, принявшие художественную форму, не обязательно были хоровыми. Бывали они и индивидуальными.

В девяностые годы стали возникать одна за другой и даже поначалу привлекать некоторое внимание культурного сообщества различные литературные премии. Самой, кажется, заметной на некоторое время стала премия «Русский Букер».

Помню, что даже я, всегда довольно-таки скептически относившийся к институту премий, на первых порах как-то слегка заинтересовался ходом этих процессов. И даже, помнится, пытался читать книги, попавшие в длинные премиальные списки.

Читая или хотя бы пролистывая эти книги, я стал замечать некую странную на первый взгляд закономерность.

Не раз и не два главным героем романа оказывался кто-то, за физиономией и биографическими обстоятельствами которого довольно легко угадывался сам автор. Довольно часто, чтобы это свое сходство с автором усугубить, герой этот назначался литератором. Но кем бы он ни был, он – герой, разумеется, – непременно нуждался в деньгах. Причем нуждался довольно остро.

Все это, конечно, было не впрямую, не в лоб. Писатели всё же.

Герой в романе мог активно или пассивно действовать, как-то шевелиться, куда-то ходить и ездить, с кем-то разговаривать, о чем-то даже иногда думать, влюбляться, сходить и расставаться, драться и мириться. Но неперенным, даже в каком-то смысле каноническим фоном его романного функционирования с подозрительным постоянством служили то не выплаченная за полгода зарплата, то печально пустынный холодильник, то украденные на вокзале деньги, скопленные на пишущую машинку или на теплое пальто, то откуда-то появлялся сосед-алкоголик, клянчивший пятерку до второго, а у героя и у самого-то в кармане последний трояк, то – совсем уж запрещенный, хотя и сильный прием – нечем было заплатить за музыкалку, где учился сын-вундеркинд.

Я не стану утверждать, что вся романная продукция тех лет, претендовавшая на благосклонность премиальных жюри, была именно таковой. Но удивительным образом именно она попадалась мне на глаза. Первые два романа, герои которых страшно бедствовали, могли пока-

заться случайным совпадением. Но мне как нарочно попало таких сочинений штуки четыре подряд.

Тогда-то и закралась в мою голову коварная мысль: не пытаются ли авторы книг таким образом – бессознательно, разумеется – разжалобить, смягчить суровые сердца распорядителей заветных конвертов? Ну и не могла, конечно, не припомниться полузабытая картежная поговорка «карта слезу любит».

Жаловаться иногда полезно, иногда выгодно. Но лишь иногда. В большинстве же случаев жалоба – жанр вполне самоценный. Искусство ради искусства.

Самой, возможно, популярной книгой в СССР была ни в коем случае не Библия, и не «Евгений Онегин», и не «Война и мир», и не «Манифест коммунистической партии», и не «12 стульев», и даже не «Книга о вкусной и здоровой пище», хотя трудно было найти что-нибудь более всенародное.

Но нет, самой народной книгой была совсем другая, «Жалобная книга». Так она называлась в народе, а официально это была «Книга жалоб и предложений».

И называлась она так вовсе не потому, что собиралась кого-нибудь разжалобить, вовсе нет. Она призывала кого-нибудь наказать и приструнить, кому-то на что-то указать, поставить на вид, обратить чье-то внимание на нарушение и безобразие.

Повсюду – в продуктовом магазине и в рабочей столовой, в парикмахерской и приемном пункте стеклотары, в прачечной и сберкассе, в районной библиотеке и психдиспансере висела на стене на гвоздике неопределенного цвета растрепанная тетрадка с этой надписью на обложке.

Взвинченно-надрывное восклицание «Дайте жалобную книгу!» до сих пор звенит в моих ушах.

Человек всегда любил жаловаться. И всегда было на что. В основном люди жаловались друг другу. Шепотом – в супружеских постелях. Намеками и полунамеками – на коммунальных кухнях. Иногда заполошные тетki или нетрезвые (море по колено) мужчины – в длинных очередях. Существовала и, кажется, до сих пор существует особая порода людей, писавших письма в газеты.

Жалобщики не ограничивались, так сказать, общественной сферой. Они заглядывали в окна, в кастрюли, в постели. Жаловались на бытовое разложение, на двоеженство и прочую «аморалку».

Жалобы не только разрешались, но как бы даже и поощрялись. Сам жанр этой бесконечной и безразмерной «Жалобной книги» был близко родственен другому почтенному жанру, в становлении и творческом развитии которого участвовали самые широкие слои населения – а именно жанру доноса.

Да, жалобы поощрялись. Но, жалуясь на многочисленные и разнообразные недостатки, недочеты, грубость торговых работников и должностных лиц, как и на все прочие досадные явления, мешающие «нашему продвижению вперед», советский человек не вправе был даже на минутку забывать о том, что недостатки бывают только «отдельными», а трудности «временными». Никогда нельзя было забывать о том, что все уродства и нелепости, сопровождавшие нашу общую повседневность, существовали не «благодаря», а сугубо «вопреки».

«Благодаря» были достижения, а «отдельные недостатки» были «вопреки».

Разнообразные «отдельные недостатки» и «временные трудности» во все времена служили неиссякаемым источником вдохновения для различных сатириков-юмористов – писателей, артистов, кинорежиссеров, исполнителей куплетов, художников-карикатуристов. Что и понятно. По крайней мере, психологически. Дело, я думаю, в том, что такие объекты сатиры, как вредители, враги народа, империалисты и их приспешники, голодающие американские дети, африканские диктаторы и их заокеанские покровители, требовали особого душевного

состояния, когда очевидное вранье, плотно переплетенное с постоянной готовностью к подлости, не могло существовать без острой необходимости самооправдания.

Это процесс, я думаю, не такой уж и легкий. А пьяницы, грубияны, подхалимы и криво-рукие неумехи – вот же они, рядом с нами. Живые, настоящие! Они существуют НА САМОМ ДЕЛЕ. По той же, видимо, причине артистам кино или театра куда лучше и убедительнее удавались отрицательные роли, чем положительные. Просто потому, что их герои воспринимались как знакомые, как живые. Таковыми они, впрочем, и были.

Бичуя бытовое хамство и жизненную неустроенность, сатирик мог иногда ощутить себя дерзким и непримиримым борцом со «свинцовыми мерзостями».

Граждане жаловались. Жаловались на всё подряд. Армия сатириков воплощала их бесформенные жалобы в художественную форму той или иной степени выразительности и изобразительной силы. Но никому никогда даже в голову не могло прийти публично пожаловаться на то, что иносказательно называлось «системой».

Никакая сатира, даже самая дерзновенная, не могла позволить себе даже близко к этой самой «системе» подойти.

И лишь в свободном, могучем и бессмертном жанре анекдота мог появиться такой, например, маленький шедевр. У человека в квартире прорвало канализационную трубу. Он вызывает сантехника. Сантехник приходит, долго возится с трубой, а потом говорит: «Тут я ничего сделать не смогу. Тут надо всю систему менять».

## Дух и буква

Те, кто имеет терпение читать меня более или менее регулярно, наверное, заметили, что я довольно часто пытаюсь рассуждать о словах, о ключевых, заряженных темной энергией словах и понятиях нашей нынешней общественной и культурной жизни, о словах, чья инструментальная энергия обеспечивается вольностью и безграничностью их толкований.

Хочется иногда поговорить о чем-нибудь незыблемом и определенном, о чем-нибудь таком, что избавлено от изнурительной двусмысленности и блудливой склонности улечься под любую проезжую конъюнктуру.

О букве, например.

Магическое, сакральное или мистическое содержание букв мы оставим в стороне, хотя это, конечно, очень интересно. Хочется поговорить о буквах и обозначаемых ими звуках, из которых образуются слова нашей речи. Всего лишь.

Буква, в отличие от слова, слава богу, не способна оскорбить ничьих нежных чувств. За ней, слава богу, не таскается неопрятная и шумливая толпа перекрикивающихся друг друга значений.

Известно, впрочем, что буквами иногда обозначаются слова или даже явления социальной или культурной жизни. Примеров, разумеется, полно.

В моем детстве, например, говорили: «Она та еще „б“». Я, еще не научившись читать, уже, разумеется, знал, что это такое. У меня, слава богу, был старший брат, главный в те годы профессор «моих университетов».

Названия некоторых букв дореволюционного алфавита сами стали словами. И очень многие из тех, кто этими словами-буквами пользуются напропалую, даже и не знают об этом. Такое слово, например, слово «хер».

В середине тридцатых годов буквой «м» стали обозначать не только мужскую уборную, но и Метрополитен имени Кагановича, или – в просторечии – «метро».

В дни открытия первой линии метро поэт Семен Кирсанов сочинил и опубликовал в какой-то из газет праздничное стихотворение, прославлявшее доблестный труд славных метростроителей. Стихотворение было бы вполне типовым и мало отличавшимся от прочих стихотворных изделий, сочиненных по этому случаю, если бы не одна его «художественная особенность». В этом стихотворении по воле не окончательного еще преодолевшего к тому времени недуг зловредного формализма автора все слова начинались с буквы «м». Ну, «метро» же! Понятно же!

Дерзкий новаторский прием был замечен и оценен не столько широкими читательскими массами, сколько записными шутниками и остроумцами из числа литераторов и журналистов. Один из них, например, сочинил нечто вроде эпиграммы, имевшей хождение лишь в устной форме: «Молодой моэт Мемён Мирсанов – мольшой чудак».

Это случаи особые. А в обычной жизни буквы, в отличие от слов, значение которых – если мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы понять собеседника и чтобы он понял нас, – приходится всякий раз устанавливать заново, так же примерно, как всякий раз заново приходится настраивать струнный инструмент, если и наделены значениями, то эти значения сугубо интимны, а потому и не предполагают дискуссий.

Вопросы типа «какие буквы тебе нравятся, а какие – нет?» или – пуще того – «какая твоя самая любимая буква?» кажутся на первый взгляд ужасно нелепыми. Еще бы они спросили, что мне больше по душе – пол, стены или потолок.

Но это и так и не так. Потому что и правда ведь существуют потаенные и трудно объяснимые симпатии или антипатии, обусловленные частными биографическими обстоятельствами иногда и самого случайного свойства. Но нам ли с вами не знать, что случайного ничего не

бывает, и все то, что застенчиво таится в закоулках и складках нашей памяти, может быть, самое главное и есть.

У каждого есть свои «заветные» буквы, хотя и не каждому свойственно об этом задумываться.

Могу твердо сказать, что для меня такой буквой является буква «р». А точнее – звук, обозначаемый этой буквой. Звук, конечно же. Что и понятно: я, как и все прочие дети, до определенного возраста пользовался звуками, еще не зная, что они обозначаются буквами. Буквы до поры до времени были исключительно ничего не означавшими графическими объектами.

И, кстати, буква «р» была далеко не первой, которую я осознал именно как букву. Я отлично помню, какие буквы я выучил первыми. Этих букв было, собственно, две. Я отлично помню, как соседка Галя Фомина протянула мне бублик и сказала: «Посмотри. Это буква „о“». Потом она разломила этот бублик пополам и сказала: «А это буква „с“». «А это, – сказала она, показав на вторую половинку, – тоже „с“».

Но это было позже. А в начале было не слово, не буква, а был звук.

Они были разные, но с «р» не сравнится ничто.

С «р» начинается фамилия моего отца, деда и прадеда. Ну и моя, само собой. С «р» начинается название страны, в которой я живу. А родился и вырос я в стране с иным названием, хотя и в одном и том же городе. В имени страны, где я родился, «р» был в самом конце. Но все равно он там был.

В названии моего родного города «р» не было. А вот в именах тех московских мест, где я родился и жил в детстве, он был. Арбат, роддом имени Грауэрмана, улица Герцена, Скарятинский переулок.

В каких-то главных словах моего раннего, почти еще утробного детства – в словах «мама», «папа», «Миша», «бабушка», «война», «Сталин», «ангина» – этого звука не было. А в других, тоже не самых пустяковых – «радио», «брат», «ура», «драка», «кровать», «бритвенный прибор», «враги народа», «папанаработе» – он был.

Я этого, разумеется, помнить не могу, но мама мне рассказывала, что в отличие от многих детей многих поколений, для кого именно этот звук считается чуть ли не самым трудным, а потому и позже других побежденным и усвоенным, я начал его произносить практически сразу.

Я произносил его не просто четко, а как-то особенно форсированно, с явным удовольствием, со смакованием, с переливами и перекатами, граничащими с рычанием.

Слово «дурак», благодаря старшему брату и его многочисленным приятелям, было одним из наиболее оперативных в моем небогатом словарном запасе. И вполне естественно, что в довольно замкнутом речевом контексте это слово какое-то время существовало для меня лишь в форме единственного числа мужского рода.

Когда мне было года три с чем-то, я залег в больницу со «скар-р-латиной». Однажды, рассказывала мама, в палату пришла медсестра, чтобы сделать мне укол пенициллина. Увидев в ее руке шприц, я заверещал на манер дурно воспитанного попугая: «Тетя вр-р-рач – дур-р-р-рак!»

Эта буква и этот звук в годы моего раннего детства, то есть в начале пятидесятых годов, играли особую и очень, прямо скажем, дурную, чтобы не сказать зловещую, роль. Потому что считалось, что некоторые особенности произношения этого звука прямо и непосредственно указывали на этническое происхождение говорившего.

Где-то я читал, что во время погромов начала двадцатого века черносотенцы останавливали на улице мальчишку, чья наружность казалась им подозрительной, и требовали, чтобы он произнес слово «кукуруза». От того или иного произношения этого невинного мирного слова могла зависеть человеческая судьба.

Ни буквы, ни звука «р» не было ни в моем имени, ни в именах моих родителей и моего брата. Всего лишь первая буква фамилии. Но и этого было достаточно, чтобы мой дворовый враг Витька Леонов, увидев меня, раскатисто орал: «Посмотрите! Губинштейн пгишел!»

Я – в отличие от многих сверстников, а также и некоторых взрослых – никогда не картавил.

Но концепт в нашу информационную эпоху – и нам ли, концептуалистам, этого не знать – во многих случаях существенно сильнее и означаемого, и означающего, и формы, и содержания. Он сильнее любого, самого очевидного факта. А рукотворный образ реальности сильнее и нагляднее самой реальности.

Я никогда не картавил. Зато картавил долговязый и вечно сопливый альбинос Женька из соседнего подъезда. Но этого никто не замечал. Потому что он был признанный силач и, главное, потому, что его фамилия была не Рубинштейн, а Никушкин.

От слова «буква» образовано слово «буквальный». То есть нечто, не допускающее вольных толкований и переносных значений.

Есть также устойчивое выражение «дух и буква закона».

Буква – это то, что твердо и неколебимо занимает свое законное место в алфавите. А вот трудно уловимый дух ее веет где хочет, время от времени чуть задевая нас своими легкими невидимыми крылами.

## Метафизика чернил

Кляксы были повсюду. На указательном пальце правой руки. На серых форменных штанах. На парте. На тетрадных листках – за это снижались оценки.

Кляксами были густо покрыты столы в почтовых отделениях, в читальных залах, в кабинете врача и начальника ЖЭКа.

Какая же жизнь без клякс. Без клякс – никуда. Клякса – хоть и бесформенный, хоть и бесконечно досадный, но, безусловно, надежный и убедительный символ Великой Чернильной эпохи.

Она ушла, эта эпоха. Причем давно. Она дотянулась лишь до художников, рисующих тушью. Но тушь – хоть и близкая родственница чернил, но все же не чернила. Да и далеко не все – художники.

Эпоха ушла, но оставила след в виде роковых нестираемых клякс. Клякс нашей неутомимой памяти.

Эта память иногда во всей своей красе пробуждается в самых неожиданных обстоятельствах.

Однажды я получил удивительный подарок. Один мой приятель, примерно мой сверстник, на одном из европейских блошиных рынков обнаружил невероятную для наших дней вещь. Обнаружил, купил и подарил ее мне.

Это была круглая деревянная ручка со вставленным в нее перышком. Ручка, выкрашенная в красный цвет. Она имела совершенно новый вид – как будто только что со склада, как будто бы не прошли несколько эпох. Ручка из нашего школьного советского детства.

Я взял ее в руки. Навсегда, казалось бы, ушедшая в небытие мускульная память немедленно встрепенулась, а за ней проснулась и вся неизбывная школьная тоска. И перышки-«солдатики», коварно и мстительно царапавшие бумагу, и безуспешно подавляемая зевота в ожидании спасительного звонка, и все остальное, включая густой снотворный снег за школьным окном.

И чернильницы, конечно. Чернильницы-«непроливайки», которые еще как проливались, причем прямо на брюки.

И сами чернила!

Странно, что мне не приходило в голову раньше, что такая, казалось бы, чисто служебная субстанция, как чернила, – точнее, их цвет, – была наделена мощным семиотическим зарядом. Что они служили казавшимся незыблемым символом социального неравенства. Символом непоколебимости установленных раз и навсегда иерархий. Символом власти или подчиненности.

Учащийся писал фиолетовыми чернилами. Только фиолетовыми. Любые отклонения от этой фатальной фиолетовости самым решительным образом пресекались.

Учитель писал красными чернилами. Красные чернила – это власть. Причем власть, объединявшая в себе (к чему нам, в общем-то, не привыкать) все ее ветви.

Обладатель красных чернил – вершитель судеб, законодатель истины и, разумеется, прокурор и судья. Власть, абсолютная и непререкаемая, осуществлялась посредством красных чернил.

Впрочем, красный цвет власти был присущ не только чернилам и не только школьным учителям. Флаги, лозунги и транспаранты тоже были исключительно красными. Прилагательное «красный» присутствовало в названиях улиц, городов, заводов, колхозов, клубов и санаториев.

Одна из подружек моей юности на все майские празднества уезжала за город, причем, как она уверяла, совсем не из идейных соображений. Точнее – не только из них. Она уверяла,

что переизбыток красного цвета в оформлении городского пространства вызывал у нее сильную воспаленность носоглотки и что в эти дни у нее ужасно чесались и слезились глаза. Мы называли это явление «майским конъюнктивитом».

Очевидная гипотеза о том, что это вполне могла быть обычная сезонная аллергия, почему-то даже не обсуждалась.

Впрочем, в школьные, и особенно в ранние школьные, годы репрессивная природа кровавых учительских чернил давалась нам в более непосредственных ощущениях, чем какие-то флаги и знамена, которые нам, детям, скорее нравились, как нравилось все то, что имело отношение к празднику, а соответственно, и к праздности.

Этот «красно-фиолетовый» миропорядок казался нам естественным, и нас не посещала до поры до времени идея чернильного бунта.

Впрочем, не совсем так. Яркий, хотя и не слишком успешный образец такого спонтанного бунта однажды имел место.

Мой дружок Володя Шухов, большой выдумщик и шутник, однажды, в классе примерно шестом, проделал такой как бы эксперимент, радикальной символической революционности которого сам он даже и не подозревал. Он просто решил пошутить. Вот он и пошутил. Пошутил он так.

Очередное домашнее сочинение он написал именно что красными чернилами, пузырек которых специально для этого дела он купил в писчебумажном магазине.

На следующий день он сдал это сочинение учительнице русского языка и литературы Ирине Павловне.

А на следующий день он получил это сочинение обратно с крупной нарядной двойкой, выполненной, соответственно, фиолетовыми чернилами и с короткой – теми же чернилами – надписью «Больше так не шути».

Больше он так не шутил. Но мне эта шутка запомнилась как неосознанное, но очень яркое проявление стихийного нонконформизма, как решительно и успешно навязанный учителю опыт карнавальная смены социальных ролей.

Цвет вообще и цвет чернил в частности – вещь очень важная и даже, можно сказать, сущностная, хотя и не всегда объяснимая.

Не так давно я наткнулся на большую связку своих записных книжек и блокнотов времен студенческой юности. Я стал их бегло просматривать. Но в процессе пролистывания поймал себя на том, что мое внимание фиксируется не столько на содержании записей, сколько на постоянно меняющемся цвете чернил.

Я очень хорошо помню свою тогдашнюю авторучку, подаренную мне на восемнадцатилетие и довольно долго прослужившую.

Наверняка были какие-то важные внутренние причины, по которым я заправлял эту ручку то черными, то синими, то зелеными чернилами. Какие-то неуловимые изменения в моем интеллектуальном или эстетическом состоянии они, конечно, отражали. Но какие именно – сказать трудно. А вот почему в этой моей ручке, а также и во всех последующих никогда не было ни красных, ни фиолетовых чернил, сказать легко.

## Глаголы настоящего времени

Совершенно сознательно опустим все околоакадемические упражнения на тему «что такое либерализм» и что, в сущности, означает это слово, внятный смысл которого доступен немногим, включая тех, кто сам себя считает либералом.

В данном случае интереснее те, кто это слово и все производные от него употребляют с исключительно негативными коннотациями.

Да, такие слова, как «либерализм», «либеральный», особенно в тех случаях, когда эти слова употребляются в негативных значениях, не слишком-то внятны с точки зрения их прямых словарных значений. Особенно в таких словосочетаниях, как «либеральный террор» или, पुще того, «либеральный фашизм».

Кстати, с употреблением слова «фашизм» в последние годы произошли и вовсе удивительные – весьма причудливые и практически необратимые – изменения. Оно употребляется всего лишь как усиленный синоним слова «плохой». Не удивлюсь, что если так дело пойдет и дальше, то в бытовом речевом обиходе вполне могут возникнуть «фашистский борщ», «фашистская погода» и «что-то у меня сегодня какое-то фашистское настроение». А может быть, уже появились, почему бы и нет.

Слово «либеральный» в контексте этой риторики, в общем-то, тоже означает «плохой». Но есть, как сказано в одном неприличном анекдоте, нюанс.

И этот важный нюанс в том, что все время получается так, что слово «либеральный» служит псевдонимом слова «современный».

Получается так, что в слове «либеральный», какими бы причудливыми значениями ни наделяли это «фашистское» слово его носители, воплощается и кристаллизуется мучительный ужас перед современностью, ненависть к современности.

Многие, очень многие панически боятся современности, которая, как им кажется, резко вышибает шаткую табуретку из-под их задов.

В ужасе они хватаются за что попало. За «традиции», за «устои», за поверхностно-косметические призна-ки «религии», за «славную историю», за «спасибо деду за победу».

Самые незамысловатые из них по любому поводу включают «национальное», облегченно оправдывая чем-нибудь «национальным» любые тупость и подлость «своих» и в той же мере убедительности объясняя то же самое «национальным» у «чужих» или у всех тех, кого им для простоты картины мира угодно таковыми считать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.